

В.Каверин

**ВЕЧЕРНИЙ
ДЕНЬ**



**Письма
Встречи
Портреты**

**МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1980**

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | |
|---|-----|
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 7 |
| <i>Глава первая. ДВАДЦАТЫЕ</i> | 15 |
| <i>Глава вторая. ТРИДЦАТЫЕ</i> | 65 |
| <i>Глава третья. СОРОКОВЫЕ</i> | 115 |
| <i>Глава четвертая. ПЯТИДЕСЯТЫЕ</i> | 165 |
| <i>Глава пятая. ШЕСТИДЕСЯТЫЕ</i> | 215 |
| В СТАРОМ ДОМЕ | 271 |
| СТАТЬИ | 429 |

Вениамин Александрович Каверин

ВЕЧЕРНИЙ ДЕНЬ

М., «Советский писатель», 1980, 504 стр. План выпуска 1980 г. № 425
Художник *Б. И. Шейнес*. Редактор *М. И. Самойлова*
Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев*. Техн. редактор *Р. Я. Соколова*
Корректоры *Л. И. Жиронкина, М. Б. Шварц*

ИБ № 1951

Сдано в набор 30.07.79. Подписано к печати 09.06.80. А 03414. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 26,46. Уч.-изд. л. 25,84. Тираж 20 000 экз. Заказ № 709. Цена 1 р. 20 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109

70202—212
К—425—80,
083(02)—80

4603010102

© Издательство
«Советский писатель», 1980 г.

АЛЕКСАНДР ЯШИН

1

Я спросил у Миши Яшина, студента Московской консерватории, как проходит День поэзии на родине его отца. Вот что он рассказал: «День поэзии проводится на Бобришном Угоре, рядом с могилой отца, на высоком берегу реки Юг. Этому обычаю изменяют только в том случае, если стоит непогода, дождь размывает и без того трудные дороги и проехать нельзя. Тогда первую, торжественную часть

праздника переносят в парк районного города Никольска. Но и в хорошую и в плохую погоду гости (и никольчане) начинают праздник с посещения комнаты-музея Яшина в школе-интернате, которой недавно присвоено его имя. Это — самое красивое в городе здание, бывшая духовная семинария. В музее — обстановка рабочего кабинета отца, перетезненная из Москвы. Во дворе школы — большой памятник, выполненный в белом камне. День начинается с возложения венков. Потом отправляются на автобусах к могиле — на Бобринский Угор, — все другие автобусные маршруты отменены в этот день.

С утра идут и едут люди из близких и далеких деревень, иногда километров за сорок.

Вдоль дороги на подступах к Бобринскому Угору торгуют автолавки — книги, пиво, продукты. Идут и идут — в национальных костюмах, многоцветных, ярких. Но вот собрались — и начинаются выступления. Читают стихи отца, свои стихи, рассказы. Мама обычно рассказывает, что сделано комиссией по наследию, какие рукописи готовятся к публикации, какие новые книги вышли из печати. После выступлений — художественная самодеятельность. Поют, пляшут. Звучат частушки, песни. Лица красивые... Яркий праздник, праздник престольный, Никольского района. Настоящий праздник — обмануться нельзя!»

В Государственном профессионально-техническом училище связи четвертый год работает под руководством Валентины Станиславовны Старковой литературный кабинет «Яшинская рябинка». Это класс, в котором никогда не обсуждаются вопросы технической связи. Оформленный ребятами, он посвящен памяти Яшина, поэзии, литературе. Здесь читают и обсуждают его произведения, здесь бывают вологодские писатели — Каратаев, Белов. Отсюда идут письма к тем, кто знал Александра Яковлевича, к его друзьям и однополчанам. Здесь участники «Рябинки» собирают воспоминания о нем. На стенах — самодельные газеты со стихами, статьями и фото. Отсюда выходят люди, юность которых украшена любовью к литературе.

— Можно ли с помощью искусства перестроить мир? — спросили меня на одном из моих вечеров.

Я ответил:

— Нет. Но невозможно перестроить его без помощи искусства.

У Яшина была черта, которая встречается редко. Он умел в событиях, подчас ничтожных, в характерах, на первый взгляд бесцветных, разглядеть и понять сущность социального явления. И не только понять, но объяснить.

Эта способность не упала с неба, она была результатом внутренней связи с теми, для кого он писал свои стихотворения и рассказы. Меткость, с которой он «угадывал» явление, поражала меня. Так, в повести «Сирота» жизнь бездельника складывается более чем благополучно, потому что «мир» из сочувствия идет ему навстречу.

Так написан рассказ «Рычаги», остро направленный против машинальности, бюрократизации сознания: требует ли доказательства та простая истина, что человек должен жить по совести? Кажется, нет. Но Яшин доказывает, что требует, — и он прав, потому что ежедневная, безотчетная, произвольная жизнь стирает величие простых истин или, в лучшем случае, превращает их в прописные. Во имя простых истин сражается Дон Кихот, в мире простых истин существуют дети.

3

Между жизнью и творчеством Яшина не было разрыва. Обязывающее ощущение призвания жизненно чувствовалось в каждой его строке. Он ничего не умел и не хотел скрывать.

А в чем моя вера?
 Опора?
 Основа?
 Кого для примера
 Брать —
 Снова Толстого?
 С ружьем зачехленным
 Без дела до осени
 Томлюсь,
 Окруженный
 Пустыми вопросами.

 «Любить своих ближних?
 Трубить славу жизни?»
 А если не любитесь?
 И если не трубится?
 «О слабых заботиться?
 О сильных тревожиться?»

А если не хочется?
И если не можетя?
А если в судьбе у меня
Бездорожица?

А может, все пошлое,
Фальшивое, тошное —
Продажность и ложь —
Не назовешь
Пережитками прошлого?
Какой мерой мерится
Моя несуразица?
И в бога не верится
И с чертом не ладится...

Это стихотворение, опубликованное в «Вологодском комсомольце», посвящено К. Г. Паустовскому — и недаром. Правдивая позиция, без которой русского писателя вообразить невозможно, у них была общая — правда.

4

Казалось, нас ничто не связывало. Я — городской человек и совсем не знаю деревню, хотя любил ее в детстве. А Александр Яковлевич!.. Вот что он писал о себе:

«Не знаю, как это передать, объяснить, по всю жизнь я испытываю горечь оттого, что между мной и моими детьми существует пропасть.

Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани, — а я еще есть сын крестьянина, они же понятия не имеют о том, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил, на полях, которые еще плугом пахал, на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога... По утрам я будто слышу, как скрипят колодезные журавли на моей неширокой улице и холодная, прозрачная вода льется в оцинкованные ведра. Скрипят ли журавли теперь? Уцелел ли тот колодец вблизи

нашей избы, из которого я сам много лет поспл воду на коромысле?»¹

Далек был от меня — исковича, москвича, ленинградца — деревенский человек Яшин и, одновременно, дорог и близок. Какие-то странные отношения были между нами, совсем непохожие на отношения с другими литераторами. Редкие встречи — и безотчетная симпатия друг к другу. Ни его, ни мои книги никогда, кажется, не обсуждались в наших разговорах, да и разговоры были беглые, как бы между прочим. Но вот однажды он случайно встретился со мной па лестнице — мы были соседями — и вдруг сказал:

— А вы знаете, ведь я вас очень люблю.

Это было сказано с полудетским вопросительным выражением — точно он наконец догадался, что любит меня, и радостно этому удивился.

5

Между судьбой писателя и судьбой памяти о нем существует связь, заслуживающая размышлений.

Корней Иванович Чуковский как-то сказал мне, что трудно войти в литературу, еще труднее задержаться в ней и почти невозможно остаться.

Перед моими глазами прошли десятки взлетов и падений литературных карьер. Выходит книга, вторая, третья. Шумный успех, восторженные отзывы, миллионные тиражи, блестящие выступления не только на родине, но и в Париже, в Нью-Йорке. И вдруг что-то необъяснимое начинает происходить вокруг знаменитого имени. Оно тускнеет, блекнет, казалось бы без малейшей причины. Равнодушное время смотрит на поэта ровными, лишенными выражения глазами. Молчание крадется за ним, прячась за каждым углом. Он еще полон сил, он много работает, и даже слишком много. Ему кажется, что все — или, по меньшей мере, многое — еще впереди. Ему еще слышатся фанфары и литавры. Но вокруг него — тишина. Еще не мертвая, но пробковая, глухая. Тишина, и только дятел, которому нет дела до славы, надоедливо, упрямо стучит в опустевшем саду. Но бывает и другая судьба памяти. Судьба Яшина. Праздничная, светлая, легкая...

1969—1978

¹ «Угощаю рябиной». М., «Советский писатель», 1974. стр. 8.

ПИСЬМА

Л. Первомайский. 11.6.1962

Дорогой Вениамин Александрович!

Говорят: с глаз долой — из сердца вон. Никак не могу согласиться с этой чудовищной поговоркой. С тех пор как мы уехали из Переделкино, нет ни одного дня, чтобы мы не вспоминали Вас, Лидию Николаевну, дневные и вечерние прогулки по снежным улицам поселка, стремительные чаепития и все прочее, ставшее для нас навсегда дорогим и незабываемым.

...Где вы сейчас? Боюсь, что письмо мое не застанет Вас ни в Москве, ни в Переделкино, что Вы укатили в Грецию или какую-нибудь другую Японию. Но где бы Вы ни были, когда бы ни прочитали эти строки, примите их как неуклюжее выражение моей любви к Вам. Не знаю, чем была бы для меня прошедшая зима, если бы не дружеское общение с Вами...

Л. Первомайский. 3.7.1962

...То, что Вы пишете о Казакевиче, — ужасно... Я уже знаю об этом из письма Николая Чуковского и не могу прийти в себя от потрясения... Я знал Казакевича еще мальчиком, а этой зимой, когда возобновилось знакомство, полюбил и понял, какой это умный, талантливый и значительный человек. Не верю в чудеса, но иногда, среди всех безнадежных мыслей, вдруг мелькнет некое подобие надежды, веры в чудо: может быть, обойдется; может быть, ошибка; страшно было бы примириться с обреченностью человека, которому так много дано и который может так много дать всем...

М. Светлов. 18.4.1962

ВЕНИАМИНУ КАВЕРИНУ

Конечно, мы уже не дети,
Но в нашей творческой судьбе
Я вам желаю долголетия,
Того ж желаю и себе.

В стихах — золотоносной жиле —
Я с вами был всегда, сейчас —
Ведь невозможно, чтоб мы жили
Вы — без меня, а я — без вас!

Родной Веппампп Каверин!
Чтобы продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я!

Л. Первомайский. 1.8.1963

Дорогой Веппампп Александрович!

Вы, конечно, давно уже вернулись из поездки в Прибалтику, но я, зная Вашу нелюбовь к продолжительному сидению на одном месте, не могу быть вполне уверенным, что письмо мое застанет Вас в Москве или Переделкине. Пишу же я потому, что, получив некоторое время тому назад письмо от уехавшего в Коктебель Николая Корнеевича, мы узнали, что опять тяжело болен Всеволод Иванов, и с тех пор, хотя это, может быть, покажется Вам преувеличением, мы не перестаем беспокоиться о его здоровье.

...С Всеволодом Вячеславовичем я познакомился благодаря Вам, но знаю его всю жизнь и всегда чувствовал в нем человека превосходного, писателя большого и честного, несмотря на многие его неудачи и поражения. Он принадлежит к тем немногим, на кого я из своей глубокой провинции смотрел с большой надеждой еще в годы юности. Меня, как, впрочем, многие тысячи других читателей, навсегда взволновали в свое время его рассказы и повести, его «Бронепоезд» и «Возвращение Будды», не говоря уже о «Тайном тайных», и с тех пор, что бы он ни писал, первоначальное впечатление большой силы, таящейся в этом человеке, никогда не проходило...

Беспощадная ненависть к старому, дикому, обезображивающему душу, свирепому миру, воплощенная в образы пронзительно резкие (вспомните «Дите»!), — действует целительнее любой разведенной па киселе сказки об идеальных людях на идеальнейшей из планет.

Это по-настоящему революционный, советский писатель, в том понимании, какое вкладывалось в эти слова в годы становления советской литературы, хотя Иванов

ходил тогда в «Серационах» и «попутчиках», как и многие другие писатели, ставшие нашими классиками, вопреки прогнозам многочисленных зашутателей тех времен...

В этом своем качестве Всеволод Иванов явление в нашей литературе огромное и непреходящее.

Ради бога, напишите, что Вы знаете о нем, я буду ждать с нетерпением...

Л. Первомайский. 11.9.1963

...Я прочитал то, что Вы писали о Всеволоде Иванове, и, хотя уже трудно было верить в благополучный исход, меня не покидала надежда — выживет... Вслед за тем я развернул «Литературную газету», увидел портрет в траурной рамке, сообщение и статью, подписанную Константином Фединым. Я вскрикнул. Вот так разрушаются все жалкие человеческие надежды — одним взмахом косы...

Е. Полонская, 31.10.1963

...Получила первый том твоего собрания, очень интересный, но с фотографией, изображающей тебя преувеличенно старым и грустным. Мне хочется видеть тебя молодым, полным жизни, таким, как знаю уже много лет! В архиве Ольги Дмитриевны Форш имеется прелестная твоя молодая карточка, где ты снят с нею, Груздевым, Тихоновым и Данько. Фото датировано 31 июлем 31 года. Не знаю, при каких обстоятельствах сделано. Не помнишь ли ты?..

И. Антокольский. 9.12.1962

Милый Веня!

Рад, что мы обменялись книгами, — почему бы теперь не перекинуться и письмами! Что ты думаешь об этом, о переписке из двух углов, из двух подмосковных? А?

Мне было пришло в голову прибавить: «...па старости лет»... но, как это ни странно, я никак не могу привыкнуть к «старости», к тому, что она разыгралась всюю, как по потам: 68 лет — не шутка, а они — за плечами, а не впереди.

Но это между прочим.

Только что кончил читать твои новые рассказы («Неизвестного друга») я уже читал несколько лет назад, ты мне прислал его)... Хороши все три, но особенно поправился мне — но страшной экономии всех средств, которая особенно заметна при большом количестве персонажей, — «Семь пар нечистых».

Мне тоже часто приходило и до сей поры приходит в голову, что по сравнению с войной все, что было после, — почти ничтожно, — и в это ничтожное одинаково включены и мировые события... и события личной жизни.

Но не хочу отвлекаться от твоей книги. Новое в ней не только большее или более тонкое, изощренное искусство, — но и толстовское, к чему обязательно приходит каждый русский прозаик. Бедный Фадеев вышел из Толстого, как из отправной точки. Ты — пришел к нему. «Толстовское» в том, как обстоятельно и добросовестно ты даешь в этом рассказе («Семь пар...») внутреннее состояние каждого из действующих лиц (главных) в каждый важный или поворотный момент. Этим я любовался...

В. Шкловский. 2.1.1968

...Побывали у Паустовского. Дрожа, улыбаясь и пошатываясь, — он встал из кресла и обнял меня. Он очень плох. Ему трудно жить.

Мир сдвинулся. Он виден смутно — краем глаза.

Первого января мы были у двух умирающих товарищей и одного — уже упакованного в желтый мешок склероза.

Но все же с Новым годом.

Существует иллюзия неба...

Читал книгу Юрия — «Пушкин».

Какая чудная книга с любовью юноши к женщине, которая уже переступает порог молодости.

Какая чудная повесть о ревности.

Какая чудная повесть о зависти, о счастье не только не достижимом, но и не сотворимом.

Какая коллизия, на век найденная.

Юрий великий писатель.

Он погиб на Эвересте.

Что лежит за этой книгой.

Не кто, а что было для него Карамзиной?

Как судьба дописывала драму, посадив рядом с умирающим Пушкиным (ему было 37 лет, как тогда Карамзиной) ее...

Л. Первомайский. 12.11.1965

Дорогой Венямин Александрович!

Не писал и не видел Вас целую вечность, даже с нашего краткого разговора по телефону прошел уже год, — и письмо это, конечно же, не способно восстановить прерванную нить по той простой причине, что не может вместить и тысячной доли того, о чем я хотел бы с Вами говорить.

Я заметил, что в молодости дни короткие, а годы длинные, когда же подходишь к старости, всё наоборот — дни становятся бесконечно длинными, а годы все короче и короче; не успеешь оглянуться — уже промчался год, и не только исчез, но и унес с собой кого-то... Обиднее всего, что торжествует старая истина — самые нужные слова говорятся человеку, когда он уже умер и не может их услышать. А кто знает, если бы они сказаны были при жизни, — не продлили бы они его дни и труды?

Я не хотел вовсе об этом писать, но совладать с собой очень трудно, да и не хочется притворяться оптимистом, я им никогда не был, хотя и в пессимистах себя не числю; ощущение мира у меня очень сложное, противоречивое, мне самому иногда трудно в нем разобраться. Знаю только одно, что я безумно люблю жизнь и людей, при всем их уродстве, несовершенстве, и ненавижу смерть лютой ненавистью бессильного перед ней существа.

...С большим удовольствием читал Вашу статью, так долго ждавшую опубликования¹... Для меня необычайно важно Ваше замечание о «нашей во многом виноватой и ни в чем не повинной поэзии». В этом простейшем словосочетании, которому Вы, может быть, не придавали никакого особого значения, заключено так много мысли, что ее хватило бы на объемистый том... Это верно и для всей поэзии, и для каждого из нас, поэтов. Я ежеминутно чувствую свою вину и ежесекундно знаю, что я ни в чем не виноват. Но сумеют ли потомки понять все наши терзания, способны ли будут они сами ощутить это состояние виновной невиновности, которое не дает не только писать, но и жить многим из нас? Вот в чем вопрос...

¹ Речь идет о статье «За рабочим столом» («Новый мир», 1965).

М. Слонимский. 1.2.1966

Дорогой Вени,

спасибо за книгу¹... Да, была такая молодость. Хорошая молодость. Приятно, что в твоих рассказах о том времени все точно, достоверно и в то же время лирично.

Сейчас разные молодые люди пишут работы о Серапионах. Только я прочел твою книгу, как появился один из таких диссертантов — Юрий Михайлович Никитин из Саратова. И разговор с ним я начал с того, что рекомендовал твою книгу.

Кстати, сегодня 1 февраля, 45-летие Серапионов, с чем и поздравляю. И приветствую...²

Л. Первомайский. 15.3.1966

Дорогой Веннамин Александрович!

Купил Вашу книжку «Здравствуй, брат» и тут же залпом прочитал ее от корки до корки.

...И еще с одной стороны я узнал Вас через эту книжку — Вы же веселый, иронический, беспощадный к себе человек.

Да, русская литература создана превосходными людьми, и если есть во мне хоть малое понимание писательской задачи, то обязан я этим только и только русской литературе, ее огромному воздействию на меня — осознанному или неосознанному — во все периоды моего существования, за исключением самого раннего, когда я не читал ничего, кроме календарей и старых иллюстрированных журналов.

И не только русская литература классиков, давно уже ставшая моим ежедневным хлебом, но не в последнюю очередь — живые русские писатели, дружба с которыми моя радость и гордость.

Когда я читал Ваше письмо к Евгению Шварцу, меня не оставляло чувство сожаления, я сказал бы даже, обиды, что я знал этого человека, здоровался, встречал его, даже

¹ «Здравствуй, брат, писать очень трудно...» «Советский писатель», 1966.

² Этот праздник отмечался бывшими Серапионовыми братьями в течение десятилетий.

сидел за одним столом (в ирпепском доме отдыха до войны), но никогда не разговаривал с ним, никогда не читал его книг и не видел его пьес. Когда несколько лет тому назад я прочитал его однотомник, я вдруг понял — с каким опозданием! — то, о чем Вы знали всегда: да это же великий писатель! И умный настолько, что видел на версту вглубь и на сто лет вперед тогда, когда многие, слишком многие, не только ничего не видели, но и собственного своего сердца биение не слышали...

Л. Рахманов. 21.1.1966

Дорогой Вениамин Александрович!

Спасибо за книжку!¹ Я прочитал ее одним махом, в тот же вечер, как получил. М. б., это возраст, м. б., веяние времени (тяга к правде, к документализму), но я с трудом сейчас читаю беллетристику и с большой охотой — вещи «нечистых» жанров: статьи, мемуары и пр., разумеется, если они того стоят. Ваша книжка была (и есть!) очень мне интересна, тем более что я литератор тоже кабинетного склада, а еще потому, что мы оба страстно любим Диккенса... Единственно, что меня огорчило: хорошо, но мало. Вам непременно следует продолжать в этом роде...

Рад, что в книгу вошло Ваше письмо к Е. Шварцу...

Л. Первомайский. 6.4.1966

...Вы ошиблись — «Двойной портрет» мне поправился. Очень. Я и понимаю и не понимаю, почему у Вас были с ним такие трудности. Впрочем, что тут понимать или не понимать? Такой резкости изображения известных явлений не было еще никогда, ни у кого, а заключительные фразы романа подобны яркому лучу, освещающему всю картину жизни, самосознание писателя, и более того — неизбежной эволюции всей нашей литературы.

Вы преподнесли истину слишком горькую для того, чтобы можно было ее проглотить без сопротивления.

¹ «Здравствуй, брат, писать очень трудно...»

...Вениамин Александрович, может быть, Вам что-нибудь прибавит несколько деталей из моей встречи с М. М. Зощенко — за несколько месяцев до его смерти.

Встречу я помню очень отчетливо. Это было в день семидесятилетия С. Я. Маршака, на его чествовании в Ленинграде (оно состоялось с запозданием, зимой 1958 года). Я приехала в Дом писателя с небольшим опозданием. Зал был полон, но в самом углу, у двери, стоял приставной диванчик. На нем было свободное место. Когда я села и повернула голову, я увидела рядом с собой Зощенко, которого узнала по портретам.

На сцену вышел кто-то из поздравляющих Маршака. Полилось неумеренное, напыщенное славословие. М. М. негромко бросил какую-то ироническую реплику. Я откликнулась, и с этого момента мы проговорили почти все первое отделение, хотя время от времени, прислушиваясь, М. М. сразу улавливал высшую точку, когда очередной оратор утопал во все более пышных выражениях. Тогда следовала ироническая реплика.

Как только окончилось первое отделение, вереница людей потянулась на сцену. Зощенко встал и тоже сделал движение пойти. Но тут же остановился и сказал — нет, пожалуй, не стоит, очень уж мы сейчас разные. И он развел чуть руками, словно приглашая меня убедиться в справедливости его слов...

Михаил Михайлович стоял в самом конце зала, один, одинокий, очень худой... Он постоял еще минутку, я взглянула на него — и даже сейчас, после стольких лет, я помню то чувство боли, которое тогда сжало мне сердце, — какое у него было лицо, какие глаза!

А потом он сказал — пойду я лучше в буфет. Мне почему-то стало грустно, даже чуть-чуть обидно, что он не предложил мне пойти вместе с ним, и, когда он вернулся, я сказала ему об этом. Он усмехнулся (от него немного пахло вином) и сказал, что виноват и вину исправит: в самое ближайшее время, месяца через два, выйдет его однотомник, и он сразу пришлет его мне. Он записал мой адрес.

Началось второе отделение. На сцену вышел актер и стал читать стихи Маршака. М. М. сидел с бесстрастным, отсутствующим лицом. Минут через десять он встал, но-

прощался со мной, повторил, что книгу обязательно пришлет, и ушел.

...Я уже ничего не смогла слушать и вскоре тоже ушла. Ну, а однотомика я, конечно, не получила. Михаил Михайлович умер, его не дождалась.

Л. Первомайский. 6.7.1969

Дорогой Вениамин Александрович!

Кругом виноват — у меня лежит давно написанное Вам письмо, но отослать его я не собрался, не по лени, а по сознанию беспомощности словесно выразить все, о чем мне хотелось бы долго с Вами говорить... Вы для меня один из самых близких и дорогих людей, бытие которых в мире облегчает мне трудную задачу жизни, и я горько сожалею, что живем мы в разных городах и видимся так редко.

Прочитанные Вами рассказы написаны давно, год тому назад. От письменного стола па страницы «Нового мира» путь у них был тяжелый и долгий, другие еще ждут возможности появиться в печати, но как бы там ни было, я доволен, что наконец прорвало, и радуюсь, что Вам хоть немного поправились мои не слишком запимательные опыты в прозе. Недостатки я начинаю чувствовать только в печати, когда уже поздно переделывать, и остается только краснеть и просить списхождения у доброжелательных друзей.

Ну, да что я все о рассказах, бог с ними — не этим только живешь па свете. Счастье, что, утрачивая, мы не теряем в общепринятом значении этого слова. Я не был близок с Луговским, хотя с самых юных лет любил многие его стихи (некоторые мне буквально спать не давали) — он ушел, и я поначалу почувствовал большую горечь и пустоту. Как вдруг он заговорил (не только со мной, конечно) своими новыми, при его жизни нам не известными книгами! Я теперь понимаю, что он навсегда со мной...

Не судите меня слишком строго, дорогой Вениамин Александрович, это для меня не общее место — я именно за то люблю литературу, стихи, разнообразное творчество, что в слове мы, не старея, продолжаем жить и никогда никого не осиротим по-настоящему, останемся, будем...

стучаться в дорогие сердца, напоминать о себе, и кто захочет — сможет услышать голос и увидеть непотухшие глаза...

Л. Первомайский. 23.8.1969

...Очень рад Вашему письму и всем добрым словам в нем. Мы так давно по-настоящему не виделись и не говорили, что даже короткое письмо становится большим событием в бедной радостями жизни... Вы не представляете себе, как я рвусь в Москву, к добрым друзьям!..

До июля я писал запоем стихи, изо дня в день, четыре месяца подряд, — почти закончил книгу, дописывать буду уже зимой в городе, а если и не прибавлю к ней ничего — не буду огорчаться, все основное уже сказано...

Главное, что Вы чувствуете себя бодрым и во всю силу работаете, что может быть лучше этого? Я могу пожелать Вам только одного: чтобы бодрость и сила никогда не иссякали и воплощались в новых романах, статьях, книгах и иных добрых делах. Все остальное проходит, как дым...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Это кажется странным, но я редко остаюсь наедине с самим собой, и даже если в комнате нет никого, кроме меня, это еще не значит, что я способен увидеть себя, свое дело и свое прошлое спокойно и беспристрастно. Лишь в последние годы мне удавалось время от времени добираться до самого себя. Нужно многое, чтобы пробиться через жалость к себе, через трудность самооправдания, но зато, когда это удается, и выигрываешь многое. Полузнание или даже четвертьзнание самого себя — одно из самых недолимых последствий пережитого.

Не пушкинское «И с отвращением читая жизнь мою...» повторяется в душе, когда я пишу свои воспоминания. В прошлом — ошеломляющее, почти нетронутое богатство лиц и картин, небывалых по своей остроте и значительности. Можно ли, не всматриваясь в себя, не освободившись от взгляда «поверх вещей», рассказать о них убедительно и правдиво?»¹

¹ «Несколько лет». («Новый мир»).

Впрочем, эта книга — не воспоминания. Если представить себе жизнь писателя как путешествие во времени, начавшееся еще в те далекие годы, когда он был гимназистом подготовительного класса, эта книга — путевые заметки, дневник. Я воспользовался лишь небольшой его частью, и, если бы разговор с архивом возобновился, у него было бы в чем меня упрекнуть.

Архив. Почему ты не решился опубликовать письма читателей? Разве эти письма не поддерживали тебя, когда сомнения доходили подчас до отчаянья и перо падало из рук?

Я. Тогда стоило бы, пожалуй, опубликовать и мои ответы. Но я писал без черновиков. Сотни, а может быть, и тысячи моих ответов рассеяны по всему миру. Кроме того, это было бы нескромностью. Читатели могли бы осудить меня — и справедливо.

Архив. «Люди и отношения» — так назван один из разделов. Но «люди» едва намечены, а «отношения»... Тебе не кажется, что они остались в тени? Ясно только одно: дружба украсила твою жизнь. Только дружба?

Я. Не так уж и мало! Но не подражай моим критикам. Они часто — увы, слишком часто — упрекали меня за то, чего нет в моих книгах.

Архив. А внелитературный круг? Можно подумать, что ты не высовывал носа из своего кабинета. Среди рукописей немало фронтовых блокнотов, а в блокнотах — почти законченные сюжеты.

Я. Они похожи на тысячи других. Еще мой учитель академик Владимир Николаевич Перетц любил говорить, что новый сюжет выдумать невозможно.

Архив. Не слишком ли много места ты отдал истории своих книг? В конце концов, кому, кроме тебя, это интересно?

Я. Ты прав. Но что делать! Я никогда не переставал считать себя историком литературы, и мне показалось существенным опубликовать то, что может показаться интересным другим историкам литературы.

Архив. А женские исповеди? Безотчетные, с грамматическими ошибками, трогательно-прямые! Неужели никто не прочтет их, кроме тебя?

Я. Кто знает! Самые значительные из них принадлежат женщинам, пожелавшим остаться неизвестными. Опубликовать неподписанную исповедь? За кого ты меня прини-

маешь? Кроме того, им не всегда можно верить. Кстати, ты не помнишь, где я недавно прочел, что вымысел выше правды?

Архив. Я не помню, потому что у меня нет памяти, кроме твоей.

Это был длинный разговор, и я не стану утомлять им читателя. Между мной и Архивом сложные отношения. Рукописи в красных и зеленых папках, безмолвные и покорные, лежат на полках, терпеливо дожидаясь своего часа.

1977—1978